



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Розанов

Человек человека не может судить последним судом. Это должен помнить всякий суд человеческий, между прочим, и критика, поскольку судит она не только написанное, но и того, кто писал. Суд потомства, живых над умершими, может быть правым; суд живых над живыми — всегда неправ.

Современники для нас как плоские фигуры на барельефах: мы видим их с одной стороны. Смерть должна отделить человека от жизни, от плоскости, сделать барельеф изваянием, чтобы мы увидели его со всех сторон и могли судить о нем как следует. А пока человек жив, критика может судить о том, что он говорит и делает, а не о нем самом.

Бывают, однако, писатели, у которых произведения так сплетены с личностью автора, что невозможно отделить одно от другого. О таких надо молчать, чтобы не судить о живых, как о мертвых. Но что же делать, когда и молчать нельзя, потому что молчать — значит потворствовать злу?

Такой писатель — Розанов.

«Я весь субъект; субъективное развитие во мне бесконечно, как я не знаю никого, не предполагал ни у кого».

Из своей субъективности он делает невероятный вывод: право на ложь.

«Удивительно, как я удеывался с ложью. Она никогда не мучила меня, и по странному мотиву: а какое вам дело до того, что я в точности думаю, чем я обязан говорить свои настоящие мысли? Глубочайшая моя субъективность сделала то, что я точно всю жизнь прожил за занавескою, неснимаемою, нераздираемою. До этой занавески никто не смеет коснуться. Там и жил, там *с собою* был правдив... А что говорил по сю сторону занавески — до правды этого, мне казалось, никому дела нет».

Это из книги «Уединенное». Книга тоже невероятная — живо загробная. Живой говорит о себе, как о мертвом, «вскрывает» себя, как мертвого. Человек, пока жив, стыдится; только «мертвые срама не имут». В этой книге бесстыдство мертвого.

Розанов, конечно, ошибается: никакая правдивость с собою не имеет права на ложь перед другими.

Литература — дело общественное, злое или доброе: когда писатель лжет «по сю сторону занавески», он делает злое дело, и обязанность критики помешать злу, изобличить ложь.

Критики Розанова, в сущности, не было или почти не было, а был смех. Но смех ему не страшен: он сам знает, что смешон, и рад смешить. Говорит о своем «мизерабельном» виде и о том, как в юности плакал, глядя на себя в зеркало: «Ну кто такого противного полюбит?» А потом утешился: «Да просто я не имею формы (*causa formalis* Аристотеля). Какой-то “комочек” или “мочалка”. Но это оттого, что я весь — дух и весь — субъект... Я наименее рожденный человек: как бы еще лежу в утробе матери и слушаю райские напевы... На кой черт мне интересная физиономия, когда я сам (в себе, в “комке”) бесконечно интересен?»

Может быть, он был бы еще интереснее, если бы об этом не знал. Во всяком случае, он не только смешон, но и серьезен — более серьезен, чем кажется.

«Вы — юморист, и ваша религия юмористическая. По-моему, лучше никакой», — писал ему однажды А. С. Суворин. Это обычная суворинская плоскость и пошлость: юмористического в Розанове нет ничего — ничего веселого, легкого; его смешное — скорбно, тяжело, уродливо. «Я был в жизни всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения».

Уродство — отсутствие меры. Вообще, у русских людей мало меры: «Все мы любили по краям и пропастям блуждать», по слову Крижанича¹. У Розанова — меньше, чем у кого-либо.

Он советует новобрачным снимать с себя фотографии во время полового акта, чтобы «сохранить на старость изображение своего счастья в молодости». Что это — райская невинность или порнография? Смешное личико новорожденного или смешная рожа дьявола?

Существует половое сумасшествие — бесстыдное обнажение. Кажется иногда, что у Розанов такое сумасшествие. И смехом закутывается оно, как полупрозрачную дымкою, прикрывается, как фиговым листком.

Федор Павлович Карамазов — тоже «бесстыдник», тоже любит смешить и не боится смеха, смеется над смехом. Смешон и страшен, похож на «огромного паука в человеческий рост» или

«римлянина времен упадка». Кто знает, может быть, на высоте власти, подобно Нерону² и Гелиогабалу³, он не только насмешил бы, но и ужаснул бы мир?

У Розанова и в смерти смех, или даже не смех, а «смешок», бесстыдный смешок Федора Павловича. «Убирайтесь к черту с вашей официальнойностью, — воображает он себя лежащим в гробу. — Непременно в земле скомкаю саван и колено выставлю вперед. Скажут: “Иди на страшный суд”. Я скажу: “Не пойду”. — “Страшно?” — “Ничего не страшно, а просто не хочу идти. Я хочу курить. Дайте адского уголька зажечь папироску»». И далее разговор о «девчонках», уже совсем карамазовский.

Малое уродство смешно; большое — страшно. Чем смешнее, тем страшнее. Недаром черт назван *шутом*. Черт шутит, корчит смешные рожи, чтоб его не боялись: не так-де страшен черт, как его малюют. Черт ловит людей на удочку смеха.

Нет, смехом не убить страшного в Розанове, как персидским порошком не убить тех исполинских насекомых, пауков и тарантулов, которые сняты героям Достоевского.

Смех ему не страшен; не страшен ли гнев — суд общественный?

«Общественность — кричат везде. Может быть, я ничего не понимаю, но когда встречаю человека с “общественным интересом”, то не то чтобы скучаю, не то чтобы вражду с ним, но просто умираю около него. “Весь смокнул” и растворился: ни ума, ни воли, ни слова, ни души. Умер. И пробуждаюсь, открываю глаза, когда подозреваю, что общественность выскочила из человека...»

«Я уже давно пишу без читателя, просто потому, что нравится... И не буду ни плакать, ни сердиться, если читатель, ошибкой купивший книгу, бросит ее в корзину...»

— Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой, — можешь и ты не церемониться со мной.

— К черту?

— К черту...»

Что делать критике с писателем, который посылает себя самого к черту?

«Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться: мне и тут тепло».

Зачем же утробный младенец стремится в общественность? Лежал бы в утробе матери. Но вот вылез и взыграл на виду всей России, голенький. Только и делает, что спрашивает: «Чего изволите?» — и поклоняется всякой силе торжествующей, всякой торжествующей подлости. «Ослабнувший фетиш» (фетиш — ста-

рый порядок), — писал во время «смуты», а едва лишь смута кончилась — начал лягать мертвого льва. Сам не ведает, что творит. Все от младенчества.

«Из кабака — прямо в церковь, а из церкви — прямо в кабак», — определяет Суворин в письме к Розанову сущность «русского духа». Надо им отдать справедливость: оба они, как никто, способствовали этому слиянию кабака с церковью. Напился в кабаке и пошел в церковь.

«Л. Толстой прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь». «Гоголь — идиот». «Щедрин, как матерый волк, наелся русской крови и сытый отвалился в могилу». Это Розанов плюет на иконы. Что же молящиеся? Ничего, продолжают молиться. Вот она, та подлая терпимость, которая превратила русское общество в дом терпимости.

«Как мне нравится Победоносцев, который на слова: “Это вызовет дурные толки в обществе” — остановился и не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше», — восхищается Розанов. Вся его общественность — плевок Победоносцева. Победоносцев, Катков, К. Леонтьев, все наши «охранители» — за спиною Розанова. Он — детище их, плоть от плоти, кость от кости. Он раскрыл то, что в них скрыто. Общественная бессовестность, общественное непотребство его от них идет. И насколько этот нигилизм ужаснее старого нигилизма наших «разрушителей»!

Да, суду общественному с Розанова взять нечего: мертвые срама не имут. Он это знает и уходит из общественности в частную жизнь.

«Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину? Частная жизнь выше всего».

В жизни общественной лжет, а «по ту сторону занавески», в жизни личной, правдив. Но, кажется, у него и там не одна, а тысячи правд, тысячи искренностей, одна на другой, как луковичные кожицы: снимет одну — под ней другая; снимет другую — под ней третья, и так без конца. Он снимает их с такой легкостью, как будто это не кожи, а платья. Платья какого угодно цвета, смотря по надобности. И даже голое тело — не тело, а телесного цвета трико, как у плясуна канатного. Плясун пляшет, зарабатывая хлеб насущный: «Только вырабатываю 50—80 рублей недельных, но никакого интереса к написанному»;

Где же нагота последняя, последняя искренность? А вот где.

«Страшное одиночество за всю жизнь. С детства. Одинокие души суть затаенные души. А затаенность от пророчности. Страшная тяжесть одино-

чества». — «Точно я иностранец — во всяком месте, во всяком часе, где бы ни был, когда бы ни был. Все мне чуждо, и какой-то странной, на роду написанной отчужденностью». — «Такое сильное ощущение пустоты около себя, — пустоты, безмолвия и небытия вокруг и везде, что едва знаю, едва верю, едва допускаю, что мне “современничают” другие люди».

— «Что ты все думаешь о себе? Ты бы подумал о людях».

— «Не хочется».

«Когда я один, я полный, а когда со всеми — не полный. Одному мне лучше».

Того, что мы называем *индивидуализмом*, утверждением одинокой личности, нельзя точнее выразить. И что это — нагота последняя, не трико, а тело, — видно из того, что этим все объясняется. Бесстыден, потому что стыдиться некого; при всех обнажается, потому что и при всех один; безобщественен, потому что не может общаться с людьми тот, кто не верит в существование людей.

Свое одиночество он считает необыкновенным. Но оно обыкновеннее, чем он думает. Как в готическом зодчестве — все здания, так в современной европейской культуре все дела, чувства и мысли кончаются острием — острием личности.

Не количеством, а качеством индивидуализма отличается Розанов от своих современников: у тех он стихийный, бессознательный и безрелигиозный, разрешающийся в эстетизм, футуризм, акмеизм и прочие пошлости; Розанов углубляет свое одиночество до сознания религиозного, до религиозной трагедии.

«Одному мне лучше, потому что, когда я один, — я с Богом... В конце концов, Бог — моя жизнь. Я только живу для Него, через Него. Вне Бога — меня нет». — «Мой Бог — особенный. Это только мой Бог, и еще ничей. Если еще чей-нибудь, то этого я не знаю и не интересуюсь. Мой Бог — бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивидуальность. Интимность похожа на воронку или даже две воронки. От моего общественного “я” идет воронка, суживающаяся до точки. Через эту точку-просвет идет только один луч: от Бога. За этой точкой другая воронка, уже не суживающаяся, а расширяющаяся в бесконечность. Это — Бог».

Края первой, суживающейся воронки общественной — свалка нечистот, помойная яма. Но по мере того как воронка уходит вглубь, стены ее очищаются; мы видим, что это стены первоизданной горной породы и что в глубине ее — «просвет к Богу».

Как может это быть? Сознаем ли мы это или нет, но для нас единственно возможный смысл религии, смысл христианства, смысл Христа — соединение любви к Богу с любовью к людям. Бог как отрицание любви нам кажется чудовищным. «Иногда чувствую что-то чудовищное в себе», — ужасается Розанов. Если

бы насекомое — паук или тарантул — могло иметь религиозное сознание, то относилось бы к Богу как Розанов. Но как Бог отнесся бы к этому чудовищу?

Всякое существо надо судить в его родной стихии. Медуза в воде — волшебный цветок, а на берегу — слизь. В общественности Розанов — такая слизь; там его как будто вовсе нет или лучше бы вовсе не было. Только в *своей* родной стихии, в своей религии, он есть, — хорош или плох, но значителен.

О древнем Египте, Иудее, Греции немного таких вещей страниц во всемирной литературе, какие у него. Вследствие некоторых особенностей своего внутреннего опыта он говорит о прошлом не как историк, а как современник: чем оно дальше от нас, тем ближе к нему. Как будто вспоминает то, что с ним было в иных воплощениях. Мы знаем, что тело каждого из нас в своей утробной жизни проходит все ступени биологического развития, от амебы до человека. Не проходит ли и душа до рождения все тысячелетия всемирной истории? Если так, то наши исторические знания — только *воспоминания*. У Розанова они так живы, как ни у кого. Все, что мы уже забыли, он еще помнит, знает не из книг, не из чужой, а из своей собственной памяти, из своей «ночной», «утробной» души, — той, которая жила до рождения. И все эти воспоминания сводятся к одному главному, религиозному.

В чем же религия Розанова?

Это религия пола. Пол, как зажигательное стекло, собирает и сосредоточивает все рассеянные в мире лучи Божественного в одну огненную точку.

Сущность Ветхого Завета — абсолютное религиозное утверждение пола, деторождения. Сущность Нового Завета — проклятие пола, Бессеменное Зачатие, абсолютное религиозное отрицание, ноль пола. «Как только в половом месте вы поставили значащую величину, вы ниспровергли Евангелие». В мире борются два света — лунный и солнечный. Солнце — Ваал — бог плодородия; луна — Астарта — вечно бесплодная дева, богиня ночи, смерти и сладострастия. Иудейство — религия солнечного, христианство — лунного света. Нужно выбрать между Ветхим и Новым Заветом, между семьей и содомом, деторождением и детоубийством, спасением и погублением рода человеческого. Иночество — скрытый содом — душа европейской цивилизации. «Мужественность, костяное, твердое начало наполовину рухнуло, когда умер древний мир». — «Наш содомский идеал, — говорят будто бы иноки, — мы сбережем и осуществим ценою погубления всего человеческого рода». Блаженно чрево не ро-

дившее и сосцы не питавшие. Не надо рождений, не надо жизни; миру конец, миру предстоит погибнуть — вот суть христианской бессеменности. «Иночество — нерастворимый кристалл в христианской цивилизации; оно ведет землю к разрушению и оставлению на земле немногих избранных — царства бессмертных святых».

Критика христианства у Розанова кончается анафемой.

«Проклятые содомляне!.. О, какая правда, что на таких, как вы, когда-то был просыпан серный огонь с неба!» — «Да провалитесь вы с вашей “нравственной личностью”, которая несет убийство, пьянство и разврат!» — «Не прав ли я, давно начав крик: смотрите, это идут погубители человечества, злодеи в образе ангелов, пантеры в образе овец!» — «О, гады! О, детоубийцы! Ироды!»

Вообще, в религиозной мысли его нет диалектики, последовательного хода: мысль его не идет, а перескакивает, перелетывает с вершины на вершину, с острья на острие. Мгновенные прозрения сверкают, как молнии, а между ними — тьма, в которой надо пробираться ощупью. Он путается в противоречиях не только антиномических (в смысле антиномий кантовских), но и логических.

Все эти противоречия сводятся к вопросу об отношении пола к личности.

В метафизической сущности мира, — утверждает он, — есть два начала: родовое, половое, безличное, и противоположающее полу, личное. Личность, душа — не только явление, но и «вещь в себе». Это — одно утверждение, а вот и другое: «душа (личность) есть только функция пола; пол есть ноумен души как своего феномена». Итак, личность — то явление, то не явление; то сущность, то не сущность.

Противоречие в основании, противоречие и в выводах.

Если душа, личность — «только функция пола», то функция (действие) не может не соответствовать своей причине, не может ей противоположаствовать. А между тем личность, — утверждает Розанов, — есть противоположаство полу: «индивидуум начался там, где вдруг сказано закону природы (закону пола): стоп! не пускаю сюда». Отношение личности к полу — то положительное, то отрицательное.

Путаница логическая отражается и в нравственной, и в религиозной путанице. Из противоположаства полу возникает личность, — по Розанову, — «единственное живое начало мира». На каком же основании он ставит знак равенства между началом жизни и началом смерти, между противоположаством полу и извращением пола, между целомудрием и содомом?

Все эти путаницы происходят из неясности ответа на главный вопрос: что к чему относится, как явление к сущности, — личность к полу или пол к личности? В сознании своем Розанов отвечает надвое, но в воле его один ответ: пол — сущность, личность — явление. И в этом главная ошибка его. Не только по христианской метафизике, но и по здравому смыслу личность, *индивидуум*, есть *неделимое*, целое; пол есть половина, двоение (два пола), деление, дробь личности. Совершенный человек, совершенная личность — не мужчина, *только* мужчина (самец) и не женщина, *только* женщина (самка), а что-то большее. Ведь вот сам же Розанов знает, что во всяком мужчине есть женское и во всякой женщине — мужское. Соединение мужского и женского не в половом акте, вне личности, а в ней самой и есть начало личности. Вот почему чувство пола так связано с чувством смерти: в поле и в смерти — конец личности.

Утверждать, что душа, личность есть только явление, «функция пола», что пол больше личности, — значит утверждать, что часть больше целого. Христианское целомудрие — не содом и не скопчество, как думает Розанов.

Ветхий Завет — движение человечества к Абсолютной Личности. Когда цель движения достигнута, оно прекращается; кто шел и дошел, перестает идти. Цель Ветхого Завета была достигнута, когда явился Христос. Если смерть непобедима и невозможно бессмертие личное, то вся надежда — на бессмертие родовое, безличное, на чреду поколений во времени, передающих факел жизни, как в «беге факелоносцев», — с вечной надеждой, не раздуется ли ветром бега тлеющий факел в огонь, — в тот, о котором сказано: *огонь пришел Я низвесть на землю*. Абсолютно надо рождать, пока абсолютно надо умирать. Но если смерть победима, то тем самым указан предел, за которым уже не надо будет умирать. Религиозная абсолютность пола, рода, рождения, так же как смерти, отменяется Воскресением, бессмертием личности. Это лишь предел, горизонт, край земли, «конец мира», *не достигнутый*; но христианский путь человечества есть путь к этому пределу, — не «погублению», как думает Розанов, а исполнению человечества. Без этого *конца*, действительно, нет христианства.

Розанов ничего не понимает в христианстве, потому что ничего не понимает в личности. Непонимание личности — свойство индивидуализма. Индивидуализм — кажущееся утверждение, действительное отрицание личности. «Суть «я» именно в «я»», — утверждает Розанов. Нет, суть «я» — не только в «я», но и в «не я». Я — только я, я — один в себе, я без всех, я против всех —

не личность, а особь, не человек, а зверь. Я и не я, я и все, я со всеми, я во всех — вот личность, вот человек. Личность и общественность — две стороны одного и того же. Розанов не знает, что такое личность, потому что не знает, что такое общественность.

Если христианство — ложь, то нельзя ли уничтожить эту ложь? Нельзя ли всю христианскую цивилизацию «послать к черту на рога, как несомненно от черта она и происходит»? Нельзя ли отменить Новый Завет и восстановить Ветхий? — спрашивает Розанов. Надо сойти с ума, чтобы ответить: можно. Здравый смысл отвечает: нельзя, — нельзя сделать, чтобы не было того, что было. А если так, то, значит, все само идет к черту: дьявол победил Бога и весь мир — победа дьявола.

А все-таки один вопрос не решен — религиозный вопрос о личности. Индивидуализм обходит его в жизни, но смерть ставит вопрос так, что обойти нельзя.

«В детях я живу... Только бы, значит, рождалось, — и я никогда не умру», — утешается Розанов. Но вот умирает «друг», — «и жажда бессмертия схватила меня за волосы», — признается он, уже ничем не утешенный. Жажда бессмертия не родового, а личного.

«И вот горбик земли, под которым зарыт человек... Эти два слова: “зарыт человек, человек умер” — своим потрясающим смыслом, своим вечным смыслом, стонающим, преодолевают всю планету... Человек умер, и мы даже не знаем, кто... Хочется сесть на горбик и выть на нем униженно, собакою».

Это значит: боли от личной смерти бессмертие родовое, безличное не утоляет.

Вот когда обнаружилось, что религия пола, брака недостаточна.

«Я говорил о браке, браке, браке... а ко мне шла смерть, смерть, смерть». — «Я кончен, — зачем же я жил?»

«Запутался мой ум, совершенно запутался». — «Душа моя — какая-то путаница, из которой я не умею вытащить ногу».

И на дне этой путаницы — последний ужас, последнее отчаяние. Одно из двух: или он, или весь мир в безумии. Так лучше пусть он — это все-таки легче.

«Безумие — вся моя прежняя жизнь...» — «Всю жизнь посвятить на разрушение того, что одно в мире люблю!..» — «Церковь есть единственное глубокое на земле... Боже, какое безумие было, что я делал все усилия, чтобы ее разрушить!.. И как хорошо, что не удалось!» — «Как пуст мой бунт против церкви!» — «Иду в церковь! иду! иду!»

Куда он идет, к кому? К «человекоубийцам, Иродам, содомлянинам, злодеям в образе ангелов, пантерам в образе овец»? Да, к ним, потому что больше идти ему некуда. Идет и стонет: «Болит душа, болит душа, болит душа, и что делать с этой болью — я не знаю».

Доплясался канатный плясун — упал, расшибся, и брызнула кровь.

Идет в церковь, а ко Христу идет ли? Или ему нужна только церковь — без Христа, помимо Христа? «Ведь я ни в воскресенье, ни в душу, ни особенно в Него не верил». Не верил, когда уходил из церкви: что, если и теперь, когда идет в нее, не верит? Можно ли так идти в церковь?

Как общественному деятелю Розанову нет пощады⁴. Но как человека судить его незачем: он сам себя судит страшным судом. «Я считаю себя дурным человеком». Однажды кто-то сказал ему, и он соглашается:

«Как в человеке в вас есть что-то нехорошее». — «Боже мой, как с неправдой умереть?.. А я с неправдой». — «Я не хочу, чтобы меня помнили... Откуда такое чувство? От чувства вины». — «Через грех я познавал все в мире и через грех относился ко всему в мире».

Он думает, что грех его «не против Бога, а против человека». Нет, против Бога и человека вместе. Может быть, открытый и честный религиозный бунт в наши дни вовсе не грех. Но у Розанова бунт лукавый: из-за угла ненавидит и не смеет поднять глаза на Того, Кого ненавидит.

